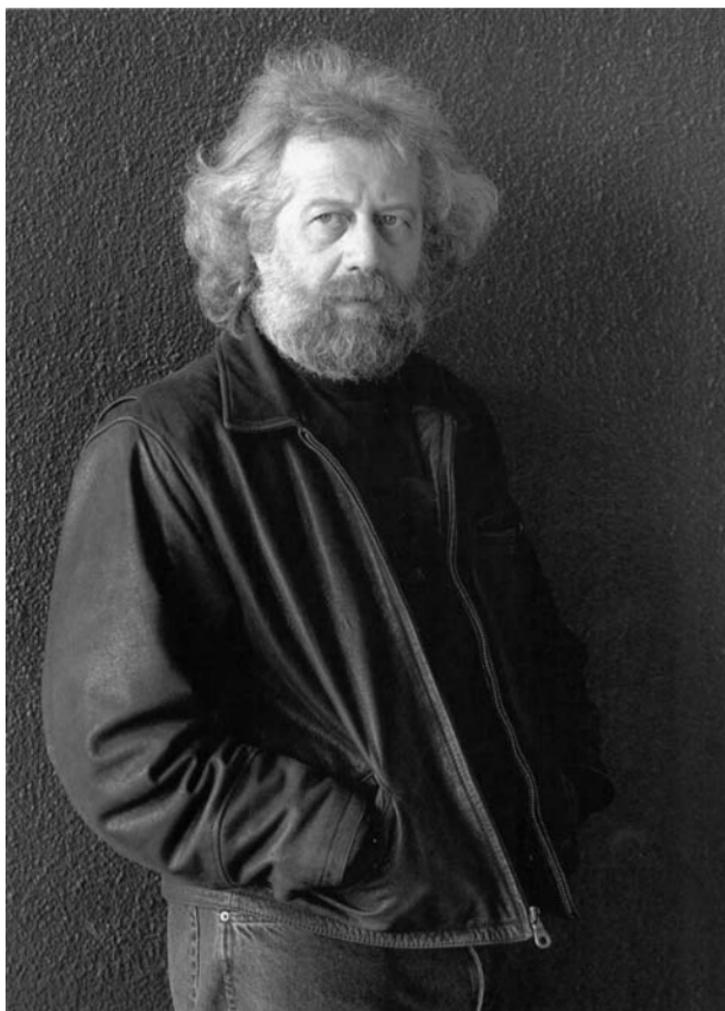


Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

ПОРТРЕТНАЯ
ГАЛЕРЕЯ

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
Санкт-Петербург • ММVIII





ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН

**ПОРТРЕТНАЯ
ГАЛЕРЕЯ**
В СТИХАХ И ПЕРЕВОДАХ

**Санкт-Петербург • ММVIII
ПУШКИНСКИЙ ФОНД**

Г 19

ББК 84. Р7

Марка издательства работы

С. Семенова

ISBN 978-5-89803-190-9

© В. Гандельсман, 2008

I

ДИПТИХ

1

Две руки, как две реки,
так ребёнка обнимают,
словно бы в него впадают.
Очертания легки.

Лишь склонённость головы
над припухлостью младенца —
розовеет остров тельца
в складках тёмной синевы.

В детских ручках виноград,
миг себя сиюминутней,
два фруктовых среза — лютни
золотистых ангелят.

Утро раннее двоих
флорентийское находит,
виноград ещё не бродит
уксусом у губ Твоих.

Живописец, ты мне друг?
Не отнимешь винограда? —
И со дна всплывает взгляда
испытующий испуг.

2

Тук-тук-тук, молоток-молоточек,
чья-то белая держит платок,
кровь из трёх кровоточащих точек
разматывает Его, как моток,

тук-тук-тук входит нехотя в мякоть,
в брус зато хорошо, с вкусовой,
всё увидеть, что есть, и оплакать
под восставшей Его высотой,

чей-то профиль горит в капюшоне,
под ребром, чуть колеблясь, копьё
застывает в заколотом стене,
и чернеет на бёдрах тряпье,

жизнь уходит, в себя удаляясь,
и, вертясь, как в воронке, за ней
исчезает, вином утоляясь,
многогорое счастье людей,

только что ещё конская грива
развевалась, на солнце блестя,
а теперь и она некрасива,
праздник кончен, тоскует дитя.

МАРИЯ МАГДАЛИНА

Вот она идёт — вся выпуклая,
крашенная, а сама прямая,
груды высоко несёт, как выпекла, и
нехотя так, искоса глядит, и прямая.

Всё её захочет, даже изгородь,
или столб фонарный, мы подростками
за деревьями стоймя стоим, на исповедь
пригодится похоть с мокрыми отростками.

Платье к бёдрам липнет — что ни шаг её.
Шепелявая старуха, шаркая,
из дому напротив выйдет, шавкою
взбеленится, «сука, — шамкнет, — сука жаркая!»

Много я не видел, но десятка два
видел, под её порою окнами
ночью прячась, я рыдал от сладкого
шёпота их, стоны, счастья потного.

Вот чего не помню — осуждения.
Только взрослый в зависти обрушится
на другого, потому что где не я,
думает, там мерзость обнаружится.

В ней любовь была. Но как-то страннику
говорит: «Пойдём. Чем здесь ворочаться —
лучше дома. Я люблю тебя. А раненько
поутру уйдёшь, хоть не захочется».

Я не понял слов его, мол, опыту
не дано любовь узнать — дано проточному
воздуху, а ты, мол, в землю вкопана
не любовью: жалостью к непрочному.

А потом она исчезла. Господи,
да и мы на все четыре стороны
разбрелись, на все четыре стороны,
и ни исповеди, ни любви, ни жалости.

ДАНТЕ

Я в неоплатном пред тобой долгу
за оголённость слова до весла,
которым толщу океана гну.
Прощай навеки, ты меня спасла.

Я знаю, с кем я разговор веду,
и если слышен в голосе металл,
то это к непосильному труду.
Я видел куст — он кровью истекал.

Не узришь ты ни скорбного лица,
ни слёз моих, их бездна подо мной,
горбатое усилие гребца
не знает этой немощи земной.

Не до друг друга, мы теперь — одно,
езде тебе пристанище, как мне
изгнание повсюду суждено...

АХИЛЛ

1

Как бы ни было точно
и со всеми подряд,
но бессмысленно то, что
боги творят.

Друг дорогой, прости, я
жив, а с тобой беда.

Плакала моя Фтия,
не доскачешь туда.

Рок тебя грубо спёшил
в чужелюдном краю.

Жизнью твоей я тешил
надежду свою:

думал, обнимешь сына
моего и отца.

Но, дорогой, пустынна
смерть. Без лица.

Путь мой расчислен.

Я ли его мощу?

Подвиг мести бессмыслен.

Потому отомщу.

2

— Ксанф, ты в битве не покинь,
меня, конь,
посреди в слезах не стань,
если тень

на меня падёт и стынь
на огонь
хлынет, — я не Трое дань
в смертный день.

— Я не дам тебе пропасть,
воин, кость
меня вывезет, и честь,
только пусть
ты уж знаешь: эту страсть
или злость
впрямь одёрнет смерти весть.
В этом грусть.

— Это, конь, не наших воль —
смерти даль,
пастушонка ли свирель,
битвы пыль, —
не твоя забота, боль
и печаль.
Ксанф, давай не канитель,
гибель — гиль.

3

Ещё собою смерть давилась
и жёны голосили всё истошней,
когда богиня Лёгкости явилась
ему, и воздух стал ясней и тоньше.

Ещё Патрокла тело умащали
амброзией и нѣктаром из чаши,
когда сняла с него покров печали
богиня Лѣгкости легчайшей.

И только ветерок, сорвавшись с моря,
летел в своём невидимом плаще.
Ни чувства мести, злобы или горя
в нём не было, ни чувства вообще.

И кони, чую нового возницу,
уж тронулись на поприще своё,
и на ходу он впрыгнул в колесницу,
и ясеновое сжал копьѣ.

ТОЛСТОЙ

Я с точностью объёмной лепки стойкой
мир запущу,
следи за небывалой стройкой
и стайкой птиц, летящих сквозь
каркас, за размышлением, плющу
подобно, вьющимся, — и восхитимся врозь.

Пожалте в человеческий зверинец!
Вот мягкий вплыл
хозяин, а жена, мизинец
отставив, попивает чай,
румяный рот красавца, пряный пыл
и вздор политика, — а рядом? — привечай

того, кто всех окажется сердечней,
кто отведёт
в смущении свой взгляд от встречной
неправды, от того ли, как,
рассевшись в кресле, шутит идиот,
в лорнет рассматривая собственный башмак.

Расти, спокойный дом гостеприимства,
где вечера,
и пунш, и столики для виста,
и всплеск из детской голосов —
два брата, две сестры, ещё сестра, —
и эхом всплеска отзовется бой часов.

Пусть кто-нибудь весной воскликнет: «Лёгко!»
И следом мне
напишется так многооко:
«Он отворил окно», — и вдох,
отрадный вдох, и силуэт в окне,
и голос девичий, — всё станет ясно: Бог.

Тогда я двину войско против войска,
и роевой
закон движения (повозка
в грязи, солдат налёг плечом)
мир обезличит песней строевой
и общим — в нервном оживлении — лицом.

Следи, как я отстрою мир громадный
на пустыре,
оставив среди пролётов мятный
трав аромат, в июльский день
начав, когда, упорствуя в жаре,
дуб оживёт листвою, — и дрогнет светотень.

Вот здесь он и умрёт, на этом месте.
И если грех,
то — гордости ума и чести, —
взглянув с презреньем и пожав
плечами, ибо на глазах у всех
нельзя иначе. Так! И в смерти моложав.

Нежно-насмешливый с ним прекратится
двусложный взгляд,

но переливчатый родится
в двойном определенье звук
и сопряжёт цветенье и распад.
Нежно-насмешливый, прощай, геройский друг.

Смотри, как я свяжу намёки, жесты,
обмолвки, сны,
мужской театр войны и женский —
сочувствия, смешав их кровь, —
в единый узел, в прозу новизны,
в сугуб скрещение, — и восхитимся вновь!

И вновь заложником безликой силы
предстанет мой
герой рассеянный и милый,
и торопливость палачей,
их рук увидит, и расстрел самой,
сугубой, дышащей, мгновенье — и ничьей,

божественной, великолепной, явной,
не может быть,
чтобы моей, простой, бесславной,
живущей жизни. Что ж, мой свет,
бессмертная душа, учись любить
без той привязанности, без которой нет

любви. Но есть. Когда читаешь неба
ночную синь
как книгу бытия, то где бы
вчера ты ни прервался, ты

находишь то, что твёрже всех твердынь,
всё в той же ясности, в обвале немоты.

Когда-нибудь, уже постигнув книгу
насквозь, до дна,
осилив мощную квадригу,
в печальнейший, быть может, час,
ты не найдёшь её, и чья вина,
скажи, что мир исчез и обошлись без нас?

Есть здравый смысл посредственности, он-то
непобедим, —
его ухватистость животна,
есть продолжение рода, есть
растительная страсть, есть прах и дым.
Не в них ли и пресуществился мир? Бог весть.

СМЕРТЬ УАЙЛЬДА

В перстне прельстительный
шарик горит
солнца, телá
золотого стекла.
Гребля. Парит,
в небе забыт,
кто-нибудь длительный.
Голос растлительный:
«К миру спиной?
Нет, загребной.
Дай мне земной
жизни растительной».

Лёд голубеющий.
Шёлк и фланель.
Милый Бози,
только не егози.
Кофе в постель.
Плещет форель,
хвост не умнеющий.
Всё ли умеющий?
Всё? О, я рад.
Здравствуй, разврат,
ласково млеющий!

Шарик проколотый,
гибнет Уайльд,
гной из ушей
и из прочих траншей
тела, ах, ай, льд-
истый Уайльд,
шарик наш зóлотый.
Кофе наш молотый.
Так ли, не так ль, —
кончен спектакль,
мученик пакль,
мальчик немóлодый.

В Тánатас изгнанный,
о, древний грех!
Пухловогуб,
холодеет твой труп,
тайно от всех
отойдя от утех
в смрад неизысканный.
В лодке замызанной
ждёт тебя друг,
высверки ук-
лючин, и вдруг —
визг их развизганный.

ОБХОД С ДОСТОЕВСКИМ

Сюда, сюда, пожалуйста-с, прошу-с,
составьте честь, а зонтичек, а мокро-с,
что затоптались? борет грозный образ?
ну наконец-то-с, эх, святая Русь
всех примет, незадирчиво раздобрясь.

Здесь Болдесовы, любят трепеца-с
среди нестерпимой ненависти-с, ручку,
прыг-прыг, ловчее, вишь ты, сбились в кучку,
невемо, что приспичило *сейчас*, —
вчера весь вечер трогали получку.

Не знаю-с, право, с чем сопоставим
стиль Бандышей, да вы бочком, мостками,
я извиняюсь вам, погрязли в сраме,
валяются всю ночь по мостовым
и хрюкают. Дощупывайтесь сами.

Зато у генеральши пол натёрт-с
и всё блестит-с, Утробину-паскуде
шампанское несут и фрукт на блюде,
а то ещё закажут в «Норде» торт-с, —
военно-эстетические люди!

Пожалуйста-с, сюда, здесь топкий пруд,
а мы перепорхнём-с, не в месте вырыт,
народец — гнусь, тот в шляпе, этот выбрит, —

а всё одно: ладошками сплеснут,
да хохотнут, да что-нибудь притибрят.

Но веруют — я без обиняков —
изряднейше: Ярыгин, этот в церковь
бежит, чтобы прожить не исковеркав
души, с ним Варначёв и Буйняков, —
и все метр пятьдесят, из недомерков.

Народ наш богоносец, новый сброд
людей, как говорится; впрочем, есть и
мошенники, которые без чести,
с препонами, но в целом-то народ,
могу по пунктам-с, тих, как при аресте.

А вместе с тем — и *крайний* по страстям,
Туныгины относятся к тем типам,
что плачут врыд, хохочут — так с захлипом,
чуть что — за нож, — держитесь, где вы там? —
по праздникам страдают недосыпом.

Для благоденствий совести — кружкí,
где люди *образованные*; к власти-с,
когда возьмут с поличным, льня и ластьясь
живут, а так — с презреньем, и стишки
пописывают вольные, несчастье-с.

Игонины, Гопеевы, подчас
всех не припомню-с, кладезь, исполины,
хоть вполпьяна и стужею палимы,

и сплошь позор, и плесень, но игра-с
природы гениальная. Пришли мы.

Не вечно же плутать, хоть чудо — Русь,
среди распутиц этих и распятыц,
ну, что ли, до приятнейшего, братец,
для вас уже просторная, смотрю-с,
готова клетка с видом на закатец.

ХОДАСЕВИЧ

Пластинки шипящие грани,
прохлада простынки льняной.
Что счастье? Крюшон после бани,
малиновый и ледяной.

Которой ещё там — концертной? —
прохлады тебе пожелать?
Немного бы славы посмертной
при жизни — да и наплевать.

НАБОКОВ

В какой-нибудь (сказал бы: низкозадой,
но я её не помню и анфас),

в какой-нибудь москве поэт досужий
заглядывает в книжицу мою.

Но жжётся книжица, и каждой фразой
она ему выносит приговор:

«Ты хочешь, чтоб меня не знали люди
и внятный голос затерялся мой».

Да он и сам не в силах углубиться,
бедняга, в чтение, и закрывает книгу,
и зарывает в ящик — с глаз долой.

Годами он лепил свой хитрый образ,
выказывая небреженье к дару

поэта, но в нетрезвости являлась
гордыня. И тогда он бросил пить.

Осталась маска волевых страданий.

Идея скромности, семейной жизни, —
благовоспитанный читатель ценит

доступное. Скажи: «Мой дар убог», —
и ты, возможно, будешь возвеличен.

И впрямь: расчёт поэта оправдался,
и он почтён в какой-нибудь москве.

Вот только что же делать с этой фразой,
с моей наклонной фразой, с перебоем

благословенным ритма, с этой лентой
столь мёбиусной предложенья, что
не оторваться, и конца не видно
ей, потому что ей конца не видно, —
она в его несчастной голове
промелькивает день и ночь, и следом
ещё одна... Нет, говорит, довольно.
Когда-нибудь, когда ему помстится,
что он забыл их, — он присвоит всё.

О, мой читатель промолчит, задобрен
воистину его убогим даром,
я тоже промолчу: мой труд прекрасный
сам за себя способен постоять.
Два-три штриха к портрету напоследок
воришки: перед сном снимая маску
и в зеркало уставившись в клозете,
подмигивая, прижимая палец
к губам, он говорит: «Тс-с-с! Пронесло».
Потом поэту снится в несказанной
москве, что он *один* на целом свете
владелец книжицы моей и должен
всё время перепрятывать её.
И как-то она падает, раскрывшись
на той странице, где отрывок этот
как раз заканчивается: «Разврат
нещедности, — читает он, — и есть
единственный разврат, и вот он, милый».

ПЛАТОНОВ

Он о бесплодности чувствовал, о пустоте,
тщетности полой, задетой движением жизни.
Как было сердцу в такой духоте, тесноте
клетки грудной не склониться к тупой укоризне,

как не упёрлось оно в костяное ребро
в злых захолустьях, на мусорных ямах, в укромах
бедных. Ты скажешь: сквозное добро
сердце спасло. Но посмотришь,

как бьют насекомых

малые дети, как давят подошвою их,
и усомнишься в его изначальности милой.
Есть равнодушное, зыбкое поле живых,
для пропитанья не знающих нежных усилий.

С жизнью слепых отношений —

куда уж слепей! —

пасынка с отчимом: не примириясь коситься, —
отчима с пасынком: то ли заискивать в ней,
то ли свыкаясь угрюмо и медленно злиться, —

как избежал он? Отваром полынной травы
сердце лечил или к морю спускался прилежно
и тавтологию синей насквозь синевы
впитывал, как и оно, — равнодушно и нежно,

а возвращаясь, подолгу сидел, как старик,
горбясь над рукописью, чтоб угловатой
фразой скелетообразной поставить в тупик
мрачную суть, как бы взяв её невиноватой?

Я его видел, он мёртв был, скорее всего
мозг вещества его жизни, измучившись прежде
горечью мироустройства, иссохнув в надежде,
попросту больше не чувствовал ничего.

ЗАБОЛОЦКИЙ В «ОВОЩНОМ»

Людей явление в чистом воздухе
я вижу, стоя в «Овощном»,
в открытом ящиковом роздыхе
моркови розовые гвоздики,
петрушки связанные хвостики
лопочут о труде ручном.

И мексиканцев труд приземистый
шуршит в рядах туда-сюда,
ярко-зелёный лай заливистый
салата, мелкий штрих прерывистый
укропа, рядом полукриво стой
и выбирай плоды труда.

И любознательные крутятся
людей зеркальные зрачки,
а в них то шарики, то прутьица,
то кабачок цилиндром сбудется,
и в сетках лаковые грудятся
и репчатые кулаки.

Людей явление среди осени!
Их притяжение к плодам
могло б изящней быть, но особи
живут не думая о способе
изящества, и роет россыпи
с остервенением мадам.

То огурец откинет, брезгуя,
то смерит взглядом помидор.
Изображенье жизни резкое
и грубоватое, но веская
кисть винограда помнит детское:
ладони сборщика узор.

Чтоб с лёгкостью уйти, старения
или страдания страда
задуманы, и *тьнь* творения
столь внятна: зло и озверение...
Но испытанье счастьем зрения?
Безнравственная красота.

РЫБА

В этой водорослями воде
перевитой мне воздуха
нет, родная, нигде,
ни полуденного, ни звёздного,

здесь, в аквариуме, в уме
повредившись, умру,
подойди на прощанье ко мне —
я, как сердце в испуге, замру.

ПЕВЕЦ ИМПЕРИИ

Певец Империи, прославленный во всех
углах отечества, обрюзг.

Одугловат, отёчен.

Он знал успех.

Теперь шевелится как бы моллюск.

Слог притупился, не отточен.

Он, верноподданных не сочинявший строк,
исследовал имперский дух,
менталитет гниенья.

Впитав порок

Империи вчерашней, сам протух.

Где вы, нестрашные гоненья?

Цензура где? Когда зелёные юнцы
и дёвицы из-под полы
его читали, — сладок,
во все концы,
дымок отечества, во все углы,
летел, охоч до тайных складок.

Где мягкий девичий и восхищённый стыд?

Легчайшая хмельная «love»

где? Там, всемирен,

он и стоит,

недожевав шашлык, что был кровав,

и окружён лучком, и жирен.

Там, у «Кавказского», вгрызаясь в шашлыки,
он и обламывал, навзрыд
кляня Советы,
свои клыки.
«Короны нет. Коронки». Он острит.
И смотрят в рот ему поэты.

Рот полон дикции. Он в точности Ильич
Второй, с параличовым ртом.
Он плоть от плоти.
Пред ним кирпич
его имперских сочинений. Том
в золотопурпурном переплёте.

АКТРИСА

Бабочка, ночная сплетница,
постаревшая впотьмах,
к телефонной трубке лепится,
«ох!» (закуривает), «ах!»,

а была когда-то куколкой,
вся умытая росой,
за кулисами шушукалкой,
сцены нежною пыльцой,

а ещё она лимонницей
летом солнечным была,
лёгкой ласковой любовницей,
нэктар в чашечках пила,

то летит, а то разленится —
и замрёт, то вновь летит,
лгунья, бабочка-изменница,
свет юпитера ей льстит,

точно ножнички кроящие,
воздух режет в два крыла,
никогда не настоящая,
жить вовек не начала,

то в печальное нарядится,
то в беспечном гомонит,
ветхокрылая развратница,
реквизит её манит,

вся чужой бедою светится,
трепыхается на ней,
бабочка, ночная сплетница,
тлеющий театр теней.

ОСЕНЬ ПОЛКОВНИКА

Жидкий (что делать с детьми?!)

наконец-то в спальне.

Пальба в ушах.

«Шах!» ему слышится, следом шахидский мат.

Мать, самолёты падают, как плоды

дымные в сентябре.

Бренность, мать. Как когда-то я рисовал,
валятся человечки с небес.

Бес попутал отчизну жалких. Я одинок.

Окна зашторить, лечь.

Легче не видеть, спать.

Патина зеркала. Жидкий наводит взгляд.

Лёд, — как учил актер,

тёртый калач придворный. —

Твёрдость. В голосе жесь.

Жест — минимальный. Министра!

Быстро всё прочесать и обезвредить — раз.

(Глаз двустволка.) Поднять

(мать твою) уровень бедности — два.

Вал удвоить к среде четверга.

Изверга взять живьём.

Вьём веревки, мать, не из тех. Из тихих.

Ихний нрав позволяет — чего не вить?

Выть на Волгу.
Волки на берегу им перегрызают глотки.
Лодки их на́ море тонут. Не видеть, спать.

Патина зеркала. Ка́пель кремлёвских кап.
Клапан сердечный, мать, дребезжит.
Жидкий берет флакон.
Кончить Босого, поднять на копьё башку.
Шкуру с живого содрать.

Рать сюда, грозную рать!
Мать моя женщина, что с детьми —
тьмы их! — что делать с захваченными детьми
Минного Поля? Взорвут — и нет.
Свет моя дочь, слава богу, в дали

Италии. Молись за неё. Поп — бывший свой.
Воин госбезопасности, японский городовой,
воин с гимнастом на шее, —
шельма, лоснится весь, —
весело, чем не цирк.

Фыркнет интеллигент-дурак.
Как и положено чайнику, он кипит.
Прыток, пока не дошло до пыток.
Тóковую, мать, терапию забыл.
Пыли этой не счесть.

Есть у них, вшивых, и свой пиит,
питан бедами нашими, дрянь.
Ранена, мямлит, моя душа.

Ужасы перечисляет отчизны, но
безжизнен и пуст.

Пусть они выговорятся. Они мертвы.
Рты не заваривают кашу, только жрут.
Трудно, мать, исключительно *мне*.
Небо знает. Но я их спасу,
сук беспомощных, я

Явь предъявлю им и прикажу: принять!
Мать, и примут.
Муторно Жидкому на душе.
Уши почёсывает кошечке Эсэсэсэр.
Серо-буро-малиновый спит в углу попугаюшка
Кагэбэ.

МАРИАННА

Марианна, перепрыгнув уровень,
в электричку резкую идёт,
в мире на одну вот-вот не умерло,
но сегодня в озере умрёт.

Точка там мерещится над озером
удаляющегося отца
и мерцающего, вроде морзе,
Марианне бледного лица.

Это с мира капля сумасшествия
в небольшую голову стекла,
Марианну силою божественной
через край ума перелила.

И она, перемахнувши замысел,
свет его таинственный и тьму,
больше не взывая к нашей жалости, —
тихо соответствует ему.

НИЩИЙ

Фасады, забранные в сетки
пожарных лестниц,
и птичьи в небесах заметки —
блистанья лезвийц,

там замирает взгляд-скиталец,
в полях смиренья, —
так интенсивен этот танец
исчезновенья!

Всё это ты, счастливец улиц,
её пленниц
и щепок солнца, мой безумец
и отщепенец... —

Вот он стоит возле киоска
и смотрит немо
на белый труд каменотёса,
на мрамор неба,

на облако, его прожилки,
на то, чем станем... —
и вновь идёт, собрав пожитки,
спокойно-странен.

ПЕРЕСКАЗ МОНОЛОГА

Жизнь прошла, говорит, не успел
ею налюбоваться.

Что с зарплаты принёс, то и съел.

Брат, не стоило браться.

Говорит, сплю, зашторен.

Тяжек сон, тошнотворен.

Снится, дочери как по щеке,

говорит, дал с размаху.

Стыдно полностью, даже руке.

Снится, плачу в рубаху.

И она так сутуло

плачет тоже, прильнула.

А потом я прищурился: мать,

а не дочь это вовсе.

Вот и думай, брат, как понимать.

Говорит, хоть раздвойся.

Так выходит по теме:

виноват перед всеми.

Ну и вот, говорит, после весь

день хожу, в сердце гири.

Где привиделось — там или здесь?

В сне моём или в мире?

Или, брат, безразлично,
где ты жил неприлично?

Но бывает, не жизнь и не сон,
говорит, на закате, —
и любишься, весь вознесён,
как горит оно в злате
и притихло листвою
совершенно простою.

Вот тогда я весь в мыслях стою,
в столбняке оробелом:
получилось, что жизнь я свою, —
по идее, не телом,
а душою горбатый, —
простоял за зарплатой.

После пью, взор туманит слеза.
Да и что делать кроме?
Ничего не осталось. Глаза
поднимаю: в проёме
мать и дочь, совокупно —
как жена, — смотрят крупно.

Говорит, я волнуюсь за них.
Я ведь не осуждал их
никогда, ни своих, ни чужих,
ни других неудалых.
Вот лежу жизнью странной:
как бы мёртвый, но пьяный.

Ты иди, брат, отсюда толпой,
вместе с ними тремя,
и прилежно все это воспой,
посвятив своей маме.
Озаглавь для итога:
«Пересказ монолога».

II

ЭМИЛИ ДИКИНСОН

(американский поэт, 1830–1886)



Вальсируют два мотылька
полдневных у ручья,
то их возносят облака,
то приютит скамья.

А то — влечёт слепящий свет
за дальние моря,
но из портов известий нет,
по правде говоря.

А донесенья птиц морских,
пиратов иль купцов,
куда б ни шли, — читала их
не я, в конце концов.



На крыльях вознесенья он
завис, и мир, как халцедон,
прозрачной вспыхнул вестью, —

миг — и нисходит махаон
на лепестковой дружбы трон,
благоволя предместью —



Нумидийский бабочки наряд,
переливчатый, спасавший от
солнца; два крыла,
трепыхнувшись, сложатся вот-вот,
и на клевере она замрёт,
словно умерла —



Ей персть сочувствия дана,
не более, хотя
для Энтомолога она
желанное дитя —

Свободна бабочка, всегда
шитьё ей в самый раз,
чуть легкомысленна? — о, да,
беспутна? — о, подчас, —

Поменьше б роскоши на ней —
впорхнула бы легко —
во всяком случае, верней —
в Бессмертия ушко.

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН

(англо-американский поэт, 1907–1973)

Осень Рима

Дождит. Волна о пристань бьёт.
На пустыре, отстав
от пассажиров, спит состав.
В пещерах — всякий сброд.

Вечерних одеяний сонм.
По сточным трубам вниз
бежит фискал, пугая крыс,
за злостным должником.

Магический обряд — и храм
продажных жриц уснул,
а в храме муз поэт к стихам
возвышенным прильнул.

Катон моралью послужить
готовится стране.
Но мускулистой матросне
охота жрать и пить.

Покуда цезарь пьян в любви,
на блёклом бланке клерк
выводит: «Службу не-на-ви...»
Жуть. Ум его померк.

У краснолапых птичек, в их
заботах о птенцах, —
ни страсти, ни гроша, — в зрачках
знобь улиц городских.

А где-то там — оленей дых.
Огромных полчищ бег
по золотому мху вдоль рек
стремителен и тих.

Щит Ахиллеса

Взглянула: ветвь оливы
и мрамор городов?
морей упрямых гривы
и караван судов?

Нет: гибельно и пусто
под небом из свинца, —
хоть и была искусна
работа кузнеца.

Равнина выжженная, голая, все соки
из почвы выжаты, — ни острия осоки,
ни признаков жилья, ни крошки пищи,
как серые, без содержания, строки,
толпятся тыщи,
нет, миллионы портупей, сапог и глаз, —
и ждут в неподвижности, когда пробьёт их час.

Безликий голос в воздухе висит
и гарантирует без выраженья
успех похода; лица, что гранит:
ни радости, ни возраженья;
колонна за колонной, пыль движенья,
под верой изнурясь, туда, где вскоре
лик смысла исказит гримаса горя.

Взглянула: ритуальный
плач? белые цветы

на агнце для закланья?
 священные труды?
Нет: там, где свет алтарный
 сиять бы мог, мерцал
палящий день кустарный,
 закованный в металл.

Колочей проволокой обнесён пустырь,
сквозь дрёму гоготнут над анекдотом
старшины, караульный-нетопырь
исходит потом
и несколько зевак глазают — кто там
ведёт троих? куда? не к тем ли трём столбам?
привязывает, вишь, и тычет по зубам...

Величие и низость, эта вся
жизнь, весящая столько, сколько весит, —
в чужих руках. Надеяться нельзя
на помощь. Да никто ведь и не грезит.
Враг будет издеваться сколько влезет.
Приняв всё худшее: бесчестье и позор, —
они до смерти превратятся в сор.

Взглянула: мощь атлетов,
 изящество ли жён,
когда пыльцой букетов
 их танец опушён?
Играй, танцуй на воле!..
 Нет: ни души кругом,
ни звуков флейты. Поле
 убито сорняком.

Оборванный какой-то бродит отрок
с рогаткой, экзекутор местных птах.
На каждую юницу — хищный окрик
и страшная работа впопыхах.
Сей отрок и не слышал о мирах,
где не насилуют или где плачут над
отчаявшимся, потому что — брат.

Умелец тонкогубый,
 уковылял Гефест,
и, чуя, что безлюбый,
 крушивший все окрест,
Ахилл жестоковыйный
 пойдёт опять крушить,
рыдает мать о сыне,
 которому не жить.

Песня

Так велико это утро, так пролито на
зелень округи, так плавно легла
ранняя на холмы тишина,
что не смущает её и строптивость крыла,
в озере подгоняющая двойника, —
и, зародившись у самой воды,
ветер возносит под облака
стаю непререкаемой красоты.

Песней, вернув белизне
первоначальность, бессмертие обрести...
Если бы! Свет над долиной горит
неодолимо, и слово на ветер летит,
и обрывается вовсе, и не
хочет, едва вознесённое, расцвести.

ЭНТОНИ ХЕКТ

(американский поэт, 1923–2004)

Смерть прогуливается

Толпа валит валом на ипподром, у ворот,
как флаги держав, развеваются вымпелы, свод
небесный кипит,
гарцуют чистопородные, круп и наездника торс,
и следом — ещё и ещё, это фарс, это форс
и топот копыт.

В коралловом дамы, лиловом и красном —
цветник,
который по прихоти дикой природы возник, —
и взглядом они измеряют
друг друга и мимо плывут, и мужчины вокруг
о шансах толкуют при помощи глоток и рук,
и тени уже замирают.

И вот, пока длится предпраздничная толчея —
немая, никем не замеченная и равнодушная я, —
совсем не судья
(при том, что сраженьё грядёт не на жизнь,
а на смерть!)
их потным победам, — всего лишь зашла
посмотреть
на взмыленных я.

Затишье

Над озером бродяжит в полусне,
как призрак, пар.
Тишайший теннисоновский рассвет.
Деревья ищут абрис свой на дне.
Мерцанье мглы. Серебряный удар
среди листвы текучей. Миг — и нет.

В алмазных каплях паутины ткань
провисла на
кривых кустах, как цирковой батут
от тяжести гимнастов, эта рань
роскошная, и блеск, и тишина,
как пресс-папье, чернилами минут

пропитанная. Птицы спят, форель
ещё не рвёт
играя, гладь воды. Всё впереди.
Не шелохнётся мир, недвижна ель, —
вроде китайской вазы предстаёт
старинной, истончившейся в пути.

Чем так меня тревожит мир, какой
такой намек
он, словно бы прозрев меня, таит?
Я тоже узнаю его прибор,
грозящий, как пружины сжатый вздрог.
Как мощно тишина кругом стоит!

Над водной гладью ловит нежный восход
лучей мой взгляд,
той первой персиковою порой,
Бог знает где, в Германии, вот-вот
рассвет, стою, сжимая автомат
холодный, отвратительный, сырой.

ДЖЕЙМС ИНГРАМ МЕРРИЛЛ
(американский поэт, 1926–1995)

Возница в Дельфах

Где кони солнца? Где их небосвод?

В зелёно-бронзовой руке возницы лишь
обрывки от поводьев, мой малыш.
Возница ждёт.

Утишить распрю, воссоздать покой,
тот, за который мы коней с тобой
любили, я молил его, дитя,

по твоему велению. Складки платья.
Грудь в гордой патине. Стеклянного литья,
глаза не ведают занятия.

Они ни с нами, ни с последним, тем,
в ожогах, ковыляющим издалека
с известьем: всё горит и выдохлась река.

Никто не правит колесницей, ни
коней, несущих смерть, не держит. Тих
возница, в воздухе одни

глаза. Холодный отблеск их.

В незрячем взгляде — ты не перепутал! —
мы отражаемся, и в нём,

испугом детским загнанные в угол,
мы меньше кукол.

И всё вверх дном

в душе. Поводья из его руки
переливаются, как если бы, подобно
нам, перед ним дрожали кони.

Ты помнишь, мой малыш, как кроткий пони
с твоей ладошки сахар ест, подробно
её вылизывая? Вопреки

тому укору, что в вознице спит,
мы в сладкой вольности с тобой, в огне,
мы мечемся, и даже кротость не

смирена в нас, — клубится и горит.

Возвращение чувства

Как растрясти тебя? Не действует ни лесть,
ни ложь, ни холодность, ни пристальная страсть.
И все уловки, в сущности, пресечь
пора. Пора. Я на себя готов принять

вину. Кивает. Осени огромна весть.
Букета в вазе чуть дрожит сухая снасть.
Но лишь заговорю — прямая речь
любовью вдвинется в меня по рукоять.

Вид из окна

Морозным утром тонкий лёд
стекла ребёнком в полусне
я вытаил глаза и рот
и лоб неведомого мне

и глядя отвлечённо сквозь
прозрачность линий видел сад
едва сосны темнела ость
в тяжелоснежном блеске лат

и так сияло на снегу
что радость выдохнул в стекло
и ангел отлетел его.
Я был ребёнком и светло

не знал что на тоску мою
мир не ответит что рука
оттает в ледяном краю
лицо ещё не раз пока

однажды не найду в чертах
твоих тех вытаенных глаз
и радость и любовь и страх
за миг до пропаданья нас.

Бабочка

В один из летних дней
я затоскую, ах,
по меховой твоей
фигурке на ветвях.

Изящество сдаёт
позиции, вياءь
среди яблоневых нот,
и с миром гаснет связь.

Что ж, с миром! Сер ковчег
материи, но в нём
замкнувшись, ты разбег
(игра Творца с огнем!)

сияющий берёшь,
чтоб сбросить кокон и
вдруг высвободить дрожь.
Как кратки дни твои!

Двоящийся дворец,
с мозаикой вразброс.
Как я устал, Творец,
от всех метаморфоз!

От аллегорий, от
символик и вполне
двусмысленных красот
куда податься мне?

Когда твои в сачке
затеплились броски?
Тот лепет в кулачке
рассыпчатой тоски,

тот полдень, и цветы,
и вздоги-витражи,
когда пленённый, ты,
без примеси души,

ты перстью стал самой,
монарх, — вот так и мы
сбегаем, пусть ценой
распада, из тюрьмы.

Последние слова

Твоих зелёных глаз
свет рядом, не погас.
Нет ничего, что я
не знаю, жизнь моя.
Я съеден солью слёз.
Рассвет или закат, —
я полусдохший пёс
в канаве Трои, впредь
или века назад —
я без секунды смерть —
мушиный рой и лоб
ребёнка надо мной, —
и та секунда, чтоб
привстать над темнотой.

ИОСИФ БРОДСКИЙ

(русско-американский поэт, 1940–1996)

Эпитафия Кентавру

Сказать, что он был неудачником, — перебор.
А может быть, недобор. — Это как посмотреть
и откуда.

Но пахло от парнокопытного худо,
и не было равных ему, если мчался во весь опор.
«Они замышляли меня как памятник», —
говорил.

Но что-то там сорвалось: подвела утроба?
конвейерный сбой? экономика? Иль,
замирившись до гроба
с врагом, отменили войну и оставили тем,
кем он был.

Портрет несуразности, двух вероятий дитя
скорее, чем неповторимости и добродетели, тенью,
похожий на облако, годами в оливковой роще
бродя,
дивясь одноногости, этой родительнице
оцепененья
деревьев, он лгать научился себе и возвел
эту страсть
в искусство, чтоб не рехнуться и избежать увечья
тоски. И умер совсем молодым, потому что
животная часть
его существа оказалась чувствительней
человечьей.

МАРК СТРЭНД

(американский поэт, р. 1934)

Памяти Иосифа Бродского

Впору ровно сейчас и сказать: всё, оставшееся
от жизни,
в расплывлённом рассеянном свете к единой
стремится отчизне,
где сознание в ничто и ничто переходит
в сознание,
ускользает, но длясь за сверкающий край
мироздания,
продолжается там, продолжается там, где ничто
и где тайно-
бессловесное, проговорившись, как ливень,
легко и случайно,
станет сном, стало сном. Всё, оставшееся
от жизни,
в расплывлённом рассеянном свете, в своей
безграничной отчизне,
где ничто пролегло между нами, где, обезголосев,
тело то же, что голос без тела, твой голос
без тела, Иосиф,
дорогой мой Иосиф, всё то, чем ты был, это место,
это место и время, которым ты щедро
и безвозмездно
жизнь дарил, стали призрачны.

В непререкаемом беге

время — некое «*между тем*», *междутемье*
для нас или некий
лепет будущего, не больше, чем «*и так далее*»...
быстро, навеки.

ТОМАС ВЕНЦЛОВА

(литовский поэт, р. 1937)

◇ ◇ ◇

За стен квадраты, за квадрат
дверей, и за квадрат
окна, и дважды два подряд
за лампу в сорок ватт,
за страны, где нас нет, за взгляд
на карту, за разлад
под крышей дома, где темнят,
за ясный воздух над,
за паровозов белый чад,
за ключ и каземат,
за нас и дважды, и стократ,
и дважды два стократ,
за то, что знают провода,
за жизнь под толщей льда,
за то, что два плюс два — не два
и дважды два — не два.

Щит Ахиллеса

И. Бродскому

Затем и говорю, чтоб зренья луч,
подобно твоему когда-то взгляду,
высвечивал часовни, и ограду,
и в двух вершках от пепельницы ключ.
Что здесь, что там — без разницы. Ты прав.
Повсюду недостатка нет в просторе —
воображенье это или море.
Во тьме, избрав

двоих, он к нам привержен. Зелена
равно листва по обе части света.
Есть разноречивой во времени, и это
опаснее, чем горькая волна
для нас. Ты удаляешься. Простор.
Ты чужестранец в нём — мидиец? грек ли?
Мы остаёмся. Нет, мы не избегли —
на наш позор —

крысиных трюмов. Кстати, и для крыс
небезопасных. Не корабль. Куда там.
Вниманье к зачистившим в гости датам,
под крышей, среди стен, где грязь и слизь,
наш возраст выдаст. Время — по пятам
и попирает нас своей пятою.
Простор. Он ослепил бы пустотою,
когда бы там,

где льёт отвесный дождь, у рубежа,
не высился торжественный свод звука,
случайно устоявший днесь, — порука
в том, что оковы — благовесть. Душа
согласна с ними. Пусть своим огнём
формируют, обжигая. Тетраферма,
иль наши небеса с тобой, — наверно,
лишь голос. В нём

покой и мир. Покой тебе и мне.
Да будет тьма. Секунды не считаю.
Твою любую букву прочитаю
в слоистом и густом пространстве-не.
Противовесом смерти и судьбе
послужит белый щит как символ веры.
В нём две несовпадающие эры, —
в его резьбе, —

два времени, — хватило б только сил! —
как на зеркальной глади, отразятся.
Подвижные рисунки растворятся
в морской волне. Забвенья пенный пыл.
Чёрны квадраты окон. Сквозь стекло
сочится воздух сонный и нагретый.
Мотор автомобиля слышен где-то,
чтобы текло

в меня пространство-время. Иногда
тьму окликает колокол, и через
едва не вечность, в оклике уверяюсь,
фундамент отвечает глухо: да.

Гудят порталы. Арка оклик свой
соседке адресует. Эта смычка,
как душ и континентов переключка
в ночи живой.

На снасти липнет утренняя мгла.
Прибрежный пар над пристанью сырою.
Ты, Фермопилы видевший и Трою, —
ты со щитом стоишь. Ты есть скала.
Ты есть скала. Ты со щитом в руке.
Металл и ветер. Грозное звучанье.
Хоть та скала от лжи и от молчанья
невдалеке.

Доверив наши судьбы нам, сейчас
ты жить в воспоминанье начинаешь,
но двойственно мгновение, ты знаешь,
и свет двойной утрачивает нас
в сужающемся что ни день кругу.
Светило зажигает в луже пламень.
Ещё неотличим от лодки камень
на берегу.

Примечание. Стихотворение написано после отъезда И. Б. из Ленинграда. Щит Ахиллеса (взятый у Одена) означает лист бумаги и стихи вообще. Терраферма — слово итальянское и даже венецианское, означает «крепкую землю», «материк» (в противоположность лагуне).

Ода Городу

Не смогу, но утрачу,
погашу, как фитиль,
к переулкам в придачу
эту башню и шпиль,
это море, и сушу,
и в песчинках смолу.
Если дышит, и душу
удержать не смогу.

Шаг непрочным настилом,
шаг — и осыпь. Темны
за погашенным тиром
заверенья волны.
Как во время ковчега,
над глубинами вод
ни души, ни ночлега —
Аквилон или Нот.

И над хлябью и твердью
в едкой соли огни
кристаллической смертью
проплывают. Одни
фонари да машины,
да впотьмах, где река,
сонных сосен вершины
шевелинутся слегка.

Орион не сияет,
но неведомый луч
пенный путь осеняет,
пробиваясь из туч.
Ветвь, сыра и упруга,
над оградой, как нерв,
а над нею по кругу
Аквилон или Эвр.

Я сомкну свои веки,
чтоб с изнанки твой свет
сохранился навеки.
Ты со мной или нет?
Станем тленом и тенью,
но покуда не тлен
этих парков терпенье,
тяготение стен.

Ни твердыням гранитным
здесь не быть, ни цвести
лавру, — в поле магнитном
пролегают пути,
вдоль обочинной ямы,
с проливною над ней
пустотой, за холмами,
где звереет Борей.

Отражённым эфиром
вспыхнет луг в стороне.
Упокоишься с миром,
воцаришься ль во мне?

Смерть привычней и чаще.
Запивая вину,
воздух твой уходящий
напоследок глотну.

Что там? Горный отвес ли,
дождь стеною пошёл?
Да хранит тебя если
не Господь, так Эол.

Много лет спустя в Карфагене

И. Бродскому

Вещь и время звучат вразнобой. Полоса
равноденствия. Вещь
сквозь туман не в себе. В проливном голоса
гаснут, словно бы речь
перехвачена ливнем на горле. Точь-в-точь
сталь, — блестит пустота
в том ненастном просвете, где белая ночь
с чёрным днём разнята.

Чувства медлят в саду, где весенний замес
марта их тяготит,
где за грубой дощатой вселенной Гермес,
искалечен, стоит.
По чужой стихотворной строке, где искрясь
на исходе зимы
стынут воды, — озябшие утки на нас
наплывают из тьмы.

Полоса равноденствия. Мглист небосвод.
Мы и выжили там,
где палаты и нары для смертных темнот
отводились друзьям.
Ветер к влажной рубашке клочками прильнёт.
Грамматический сор,
и обломки, и свода небесного лёд —
эхом грянувший хор

совершенного времени, ибо прошло
без возврата. Таков
город неповторимый: трамваев тепло,
лязг цепей, строй мостов,
лампы карцеров вечногорящие да
над дворами пробег
облаков, где ты столько рождался, куда
не вернуться вовек.

И куда не дотянет стрела. Острова,
где учились сквозь страх
говорить «никогда»... Речь заводит трава,
рассыпается в прах
гравий, — всё, как Катон обещал.
Чёрствый воздух. Покой.
И руины, чтоб выжил и не обнищал
в них грызун хоть какой.

Я не верил, что кончится всё, что дано.
Но теперь узаконь:
то, что было удачей и мукой — равно
расплавляет огонь.
Мозг уловит, отметит зрачок свет иных
обитаний и тишь,
когда в сумерках ты от болот торфяных
неба не отличишь.

И не более. Жёстким плющом заросло
то окно, где, горя
в стуже марта, колотятся ветки в стекло,
дотлевают заря,

чтобы вздох, послужив послесловьем к тщете,
был дарован не нам —
белизне негатива, стиха темноте,
победившим богам.



Когда-то мы здесь оказались вдвоём... Роговица
прозрачна, душа распрямляется,
чтоб распрямиться,
часы замирают, аллея вот-вот осветится

и выйдет из сада. Не видно хозяина. Пышной
листвы серебро наклоняется к почве неслышной —
ни ласточки нет, ни судьбы на примете.

Всевышний.

Как шахматы ум утомляют, вселенная — зреньё.
Глаз видит, что видит: стакан, виноградинок
звенья, —
но взгляд просветлеет (о, лет через десять
забвенья).

Крошится в прибое слюда, и вдыхает в распахе
окно занавеску льняную, дрожащую в страхе, —
останется то, что в силок свой поймал
амфибрахий:

платаны над оспой асфальта и в том же размере —
любовь, то есть двигатель звёзд,
если следовать вере
того, кто увидел её таковой — Алигьери.

Памяти Иосифа Бродского

Зима. Её септимы, квинты. Кто Голос сейчас
запишет, который ты слышал секунду назад, а?
Он мысль превосходит. Мембрана не дышит.

На связь
не выйти. Вернувшись, письмо обретёт Адресата.

Ещё ясновидящим светом трепещет камин,
и мост, его жалкая вечность, себя продлевает,
но небытию, словно раковине, за помин
души, одиночество форму уже отливает.

На Страшном суде, пробудившись от времени, ты
пробудешь таким. В мире большем, чем наш,

тебе гидом
щепотка ли славы послужит, глоток немоты
иль гаснувший пульс, но подвластный

одним аонидам.

Сквозь груди щебёнки весной пробивается смерть.
Насилие, разум презревшее, пенится в устном
и письменном пафосе. Сердце, устав тяжелеть,
срастается с дольным. И это зовется искусством.

В летейские воды два раза вступают, в тот край,
где ночь, где рука отдыхает, в значении сбывться
словам повелев (океан, мотылёк, свет, прощай),
чтоб нить оставалась и было за что ухватиться.

Мандат неба

Империей правит ныне сентябрь. По аллеям парка
он разбросал святыни, как гальку морскую.

Жарко.

Но нам трёхъярусный капор святилища
дарит тень,
как неким богам. До края вселенной дойдя,
до точки,
где стихли цикады, видишь пустой,
терпеливый день —
ни тени на горизонте безоблачной желтизны.
«Средь прочих сюжетов Северной, —
он продолжает, — страны
нам ближе всего, пожалуй, сюжет
“Капитанской дочки”».

Звучит она в переводе как
“Чудо вознаграждённой
любви”. Всё иначе вроде: другой средой
порождённый
словарь, офицерские званья иные, но суть одна:
пурга. Сквозь пургу разбойник бредёт,
под тулупом пряча
секиру. Зачатый грязью, он злобен. Потом война.
Ничто становится всем, и бродяги толпой идут
к столице. Пожар. Смятенье. Гонг. Живность
всю перебьют.
И только юнца-поэта минует петля палачья.

Второе столетье длится запечатлённое счастье:
юнца выручает девица, повстанец разъят
на части.

Однако мудрые знают, что всё иначе порой:
сдаётся охрана, гаснут костры, из дворца владыка
в одной сандалии в поле уматывает (вот рой
его догоняет копий), валяется голова
министра, слуга и евнух — о, эта братва жива! —
властительным жестам учат того,
кто не вяжет лыка.

Он сеет рис, бьёт поклоны, как надлежит
бессмертным.

Чтобы земное лоно зачало, он к милосердным
небесным взывает силам, но если бы мог, —
бежал

их письменных знаков, духов и страха
хлебнуть цикуты.

Со свитой лясы не точит, предпочитая — кинжал.
Обжорствует, зная: утром всё выблюет,
что сожрёт.

Задув перед сном светильник, он кличет,
разявив рот,
богов земли (то дубины, то копьё —
их атрибуты).

Его сыновьям не внове терять свою жизнь
бесславно.

Шестой же по счёту, крови напившись,
правит державно,
заботясь, чтобы ритмично скрипела вселенной ось.

Кочевники перебиты. Разливы рек под запретом.
Всё больше дань. Юг и Север, как муж и жена,
не врозь
отныне. Обильны всходы, ничтожны ли —
воин сыт.
Владыка, с младшей женою развлекаясь, острит.
Триумф. Иероглиф ложа ему помогает в этом.

Внук, отпрыск шестого сына, колдует, не спит,
склоняясь
над главкой Дао дэ-дзина, и, к размышленьям
склоняясь,
он строит планы и держит со жрецами совет:
как изменить пространство и календарь. Короче,
как отдалить мгновенье, когда тебя больше нет.
Но, увы, геоманты не помогли — о том
свидетельствуют две фразы (полуистлевший том):
“Умру — погаснут созвездья” и “Я хочу”.
Многоточье.

Длить перечень бесполезно. Последний,
довольно слабый
отросток рода болезный, недужит: грудная жаба.
Наследников нет, поскольку семья для него
гнусней
наложника (этот тоже ему опротивел). Сиро
в столице, и нечисть лисья плодится вокруг
и в ней.
В сентябрьской гордыне грозной империя.
Тот покой,
когда остаётся только догадываться, в какой
наш Пугачёв (не так ли?) округе точит секиру.

ИМОН ГРЕННАН

(ирландско-американский поэт, р. 1941)

Шесть часов

Испарина грибной земли. Под соснами
припахивает пылью, скипидаром.
Поодаль кто-то там шажками сонными.

На кладбище свирель поёт о старом
и дорогом, и в удивлённом воздухе
звучит мотив, и саженцы кивают

друг другу: да, да-да, — минута роздыха —
и вновь своей приязни не скрывают.
Вбираю дух древесный, свежеспиленный,

сверкнувший срез, скворцы себя взрывают,
взлетев на воздух, никнут, в обессиленный
сбиваясь круг, — то шире он, то уже, —

пульсирует, как сердце. В каждом атоме
есть внятный отзыв. Кот, настроив уши,
внимает ветерку, пока разъятыми

на имена явлениями: сонный
прохожий, окна с солнцами распятыми, —
я называю час, в них растворённый.

Фамильная драгоценность

Средь прочего я прихватил из дома
родительского грузную солонку,
литу, в ширину ладони, — мать
к ней тянется, к её стеклянным граням,
или в конец стола передаёт
отцу, он у окна, спиной к окну.

Апофеоз: отец жуёт, уставясь
в газету, мать накладывает нам
еду в тарелки — как им удаётся
не пересечься взглядами? — он первый
встаёт, уходит в кресло — ну-ка, что
сегодня едят, — мать сидит, пока —

короткий разговор иссяк — мы, дети,
всё не подчистим, не сгребём посуду
и не поставим в шкаф солонку, там
она вбирает воздух по слезинке,
покуда не понадобится вновь
её добавка горькая. Сегодня

на кухонном столе стоит, в Покипси.
Дешёвая стекляшка зажилась, —
прочней, чем плоть и кровь, как подобает
фамильной драгоценности, она
передо мной, — я пригубляю соль
и пробую на вкус, и вдруг, случайно

её просыпав, — белый иероглиф
изящный на столе — беру цепоть
и с материнским суевьем быстро
бросаю через левое плечо,
чтоб отогнать родительские тени
и от исчезновенья уберечь.

Оставаясь в постели

Всё воскресное утро лежим разговаривая. Окно,
из ноябрьской серости воскресая

в звоне колоколов,
осеняется острой, как лезвие, голубизной.
Воздух вспыхивает, мерцает, как сеть. Улов —
капли ласточек, сбитых голодом на лету
с толку, тени скворцов. С прикосновеньем ко льду
холодов, приручаешь истину: мы должны
их принять всем телом. И принимаем, обнажены.

Голоса слоняются, как лунатики, между нами.
Два уступчивых тела сливаются. Полуснами
пробредает любовь, праздно, ленно,

летнее дуновенье
затопляет зеленью ранней пшеницы мгновенье.
В этом тихом согласии мы, вопреки холодам
и зимам,
в прошлых жизнях друг друга смиряемся
с невыносимым.

Встреча

Лёд с озера сошел, волна под ветром
доказывает с пеною у рта,
что так и есть. Но ниже полуметром —
лишь руку погрузи — твердыня льда.

А подо льдом — пятнистая форель
с хвостом своих забот. Охотник встречный.
(Ты не вальдшнеп на воле, не беспечный
бекас, но если все-таки ты цель, —
пока тебя не чует спаниель,
вникая в мокрый вереск, — вроде камня
замри!) Он говорит: «Вот, взять, фазан! —
Закуриваем. — Чуден! Несказан!
Как тут пальнешь! — Разлом ружья. —
Пора мне».

Патроны. Винноцветные, с торца
блестят, как обручальных два кольца.

Подробность

Глядя, как мчится малиновка вслед за другой,
меньшею птахой, которая вся — трепыханье,
глядя, как длится она в легкокрылой погоне,
молча, с сиятельной грудкой, — а перепелятник,
вдруг появившись над зыбью деревьев,
с неба срывается, светло-коричнев, как плод
зрелый, срывается, воздух собой прожигая,
с тем чтобы впиться в неё, даровав своей жертве
несколько вскриков над улицею пустынной,
несколько кратких в сплошной тишине

изумлений, —

я понимаю, как пишется стихотворенье:
следуя неуловимой мелодии, прерванной грубой
правдой и сердца похищенным криком...

ТОМ УЭЙТС

(американский поэт, композитор, актер, р. 1949)

В дверях

Встали, бля, часы...
В них буль-буль вино...
Эй, я с вами, псы,
ухожу на дно...
На своих... Мерси,
шеф, не на такси.

Впору видеть сны,
выметаться прочь,
полные штаны
радости волочь,
гаснут, извини,
в кумполе огни.

Чёрт меня занес
в этот хлип и хлюп,
в луже, крив и кос,
утопает шлюп,
дай-ка зонтик, друг,
а не то каюк.

Вечный, бля, облом...
Прижималась, мня
что-то, всё крылом
шкрябала меня.
Нет уж... Да и дом,
знать, не за углом.

Кладбищенская полька

дядя Вернан
сам по себе
дядя Вернан
словно на льду
старый кабан
дядя Вернан
 он босс на скотобойне
 а под аккордеон
и шёпот Джуди «спой мне»
себя лелеет он
этот старик
как его Рик
с неким дружком
в пору войны
денег настриг
вот оно в чём
 ни в долг не брал ни зай-
ма
 у банка педераст
и стало быть ни дайма
ни вам ни мне не даст
дядюшка Клод
в прошлом пилот
«Францию гром
пусть разразит, —
он говорит, —
баб хоть шаром...»

он держит скуки ради
бардак он не монах
а что не держит дядя
так это хер в штанах

тётю Катрин
мучает сплин
впрочем не суть
крыша у ей
тёти моей
съехала чуть

она в фойе отеля
кричит пока поют
по радио «Отелло»
«Молчать! Здесь вам не тут!»

дядюшка Билл
просто Ахилл
правда с яйцо
шишка на лбу
будет в гробу
портить лицо

ну а покуда пьянка
смотри наперевес
с ним пуэртиориканка
а с ней её протез

СОДЕРЖАНИЕ

I

Диптих.....	6
Мария Магдалина.....	8
Данте.....	10
Ахилл.....	11
Толстой.....	14
Смерть Уайльда.....	18
Обход с Достоевским.....	20
Ходасевич.....	23
Набоков.....	24
Платонов.....	26
Заболоцкий в «Овощном».....	28
Рыба.....	30
Певец Империи.....	31
Актриса.....	33
Осень полковника.....	35
Марианна.....	38
Нищий.....	39
Пересказ монолога.....	40

II

Эмили Дикинсон

«Вальсируют два мотылька...».....	44
«На крыльях вознесенья он...».....	45
«Нумидийский бабочки наряд...».....	46
«Ей персть сочувствия дана...».....	47

Уистен Хью Оден

Осень Рима.....	48
Щит Ахиллеса.....	50
Песня.....	53

Энтони Хект	
Смерть прогуливается	54
Затишье	55
Джеймс Инграм Меррилл	
Возница в Дельфах	57
Возвращение чувства	59
Вид из окна	60
Бабочка	61
Последние слова	63
Иосиф Бродский	
Эпитафия Кентавру	64
Марк Стрэнд	
Памяти Иосифа Бродского	65
Томас Венцлова	
«За стен квадраты, за квадрат...»	67
Щит Ахиллеса	68
Ода Городу	71
Много лет спустя в Карфагене	74
«Когда-то мы здесь оказались вдвоём...»	77
Памяти Иосифа Бродского	78
Мандат неба	79
Имон Греннан	
Шесть часов	83
Фамильная драгоценность	84
Оставаясь в постели	86
Встреча	87
Подробность	88
Том Уэйтс	
В дверях	89
Кладбищенская полька	90

***В серии книг «Зеркало»
вышли следующие тома:***

- В. Яновский.** Поля Елисейские
- Б. Ахмадулина.** Однажды в декабре
- С. Гандлевский.** Трепанация черепа
- В. Соснора.** Дом дней
- Е. Шварц.** Определение в дурную погоду
- А. Битов.** Дерево
- С. Гандлевский.** Поэтическая кухня
- В. Соснора.** Книга пустот
- В. Соснора.** Камни НЕГЕРЕП
- И. Бродский.** Горбунов и Горчаков
- Л. Петрушевская.** Карамзин деревенский дневник

В серии «Имя собственное» выпущены книги:

- К. Победин.** Поэмы эпохи отмены рабства
- А. Генис.** Темнота и тишина
- О. Шамборант.** Признаки жизни
- А. Генис.** Пейзажи
- С. Лурье.** Успехи ясновидения
- О. Шамборант.** Срок годности
- О. Исаева.** Мой папа Штирлиц
- В. Соснора.** 15
- С. Гандлевский.** Станные сближения
- С. Лурье.** Нечто и взгляд

Предлагаем читателям также следующие книги:

- В. Кальпиди.** Ресницы
- Б. Ахмадулина.** Зимняя замкнутость
- Л. Лосев.** Стихотворения из четырех книг
- А. Ерёмченко.** Горизонтальная страна
- Гильгамеш.** *Аккадское сказание*
- А. Цветков.** Дивно молвить
- Е. Шварц.** Сочинения в 4 томах
- С. Гандлевский.** Найти охотника
- Б. Рыжий.** Стихи
- В. Соснора.** Всадники
- В. Павлова.** По обе стороны поцелуя
- М. Дидусенко.** Полоса отчуждения
- Н. Уперс.** Апокрифы Феогнида
- А. Березин.** Пики-козыри

Все книги серий тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг обращайтесь
в издательство по адресу: 191028, СПб., Моховая ул., 20,
помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24

факс: (812) 273-52-56

Г 19

Гандельсман В. Портретная галерея в стихах и переводах. — СПб.: «Пушкинский фонд», 2008. — 96 с.

ISBN 5-89803-190-9

ББК 84. Р7

Гандельсман Владимир Аркадьевич
Портретная галерея в стихах и переводах
Санкт-Петербург, «Пушкинский фонд», 2008

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд»
191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

LX

ПУШКИНСКИЙ ФОНД